

РАССКАЗЫ

ИВАН МАКАРЫЧ И АНЖЕЛА ДЭВИС

Давно это было. Когда еще существовали тринадцатая зарплата, автматы с газировкой, субботники, демонстрации и очереди за колбасой. В общем, в середине второй половины двадцатого века.

Плыл к закату знойный август за распахнутым окном, но уже веяло терпкими нотами осеннего увядания; и загоревшие кто в Сочи, кто в Ялте служащие никак не могли настроиться на работу. Знакомый мой экономист небольшого управления Иван Макарыч Семенов работал над каким-то срочным отчетом. И как человек обстоятельный, подробный и ответственный ушел в работу с головой.

Когда он погружался в подобное состояние, коллеги старалисьшний раз не трогать его, поскольку любая, даже самая мелкая просьба в такие дни выводила тишайшего Ивана Макарыча из равновесия. Он мог просто не заметить обратившегося, только поднять голову и минуту смотреть сквозь человека глазами, в которых быстро-быстро крутились циферки. Но мог и сильно рассердиться, и в раздражении, отодвинув большой калькулятор, сказать:

— Отчет, дорогая Мариванна, конечно же, может подождать! А уж начальник управления тем более подождет; что такое отчет! Тьфу!

И скажет он это так, не повышая, впрочем, голоса, что бедная тетка, которая и все-го-то хотела предложить ему путевку на выходные в дом отдыха, просто забывала, за чем подошла.

Именно в такой период и случилось ЧП мирового масштаба. Арестовали и посадили в тюрьму Анжелу Дэвис. Анжела Дэвис, если кто не помнит, — чернокожая деятельница коммунистического движения в США, молодая, с пышной негритянской шевелюрой, она в одночасье стала символом борьбы против капитализма, а также за свободу и равноправие, как сегодня принято политкорректно выражаться, афроамериканцев. Это была темная история: активисты негритянской организации «Черные пантеры», то ли боровшиеся с наркомафией, то ли пытавшиеся занять ее место, в попытке освободить из зала суда троих чернокожих заключенных, захватили в заложники обвинителя, нескольких судей и присяжных. Тогда были убиты и сами «пантеровцы», и судья, и заложник-обвинитель. Дэвис оказалась каким-то образом втянута в эту историю. Она бежала, скрывалась от полиции, но ее выслеждали и арестовали. Уже значительно позже выяснилось, что девушка была будто бы

Александр Алексеевич Ломтев — журналист, писатель. Родился в 1956 году. Основатель и издатель культурно-просветительской газеты «Саровская пустынь». Публиковался в различных литературных журналах России. Автор книг «Путешествие с ангелом» (финалист Бунинской премии 2008 года в номинации «Открытие года»), «Ундервуд», «Пепел памяти». Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», премии «Патриот России» и др. Живет в г. Сарове Нижегородской области.

не так уж и невинна, что не чужды ей были и упражнения с наркотическими веществами, и с оружием, а недавно, уже в солидном возрасте, Анжела объявила, что она лесбиянка. Сегодня она вряд ли смогла бы претендовать на любовь тогдашнего советского лидера Леонида Ильича Брежнева, но тогда...

Молодая, вызывающе яркой внешности, типичная негритянка, она оказалась очень удобной фигурой в войне идеологий, ее имя было поднято на флаг, и лозунг «Свободу Анжеле Дэвис!» по популярности уступал в тот год мало какому другому.

Коллективу, в котором трудился Иван Макарович, сообщила о беде профсоюзная деятельница на неосвобожденной основе Натали Укропова. На «неосвобожденной» — это только так говорилось. Чтобы Натали занималась своей основной работой, мало кто видел. Да и как она могла сосредоточиться на работе, когда в мире происходили такие разнообразные и великие события, касающиеся всех и каждого! А когда Укропова ввязывалась в очередную общественную кампанию, она становилась такой же полувменяемой, как Иван Макарович. Азартно шла напролом, словно русская борзая за зайцем, добиваясь немыслимых результатов.

Не знаю, кто затеял инициативу по сбору подписей в защиту Анжелы Дэвис, но Натали включилась в эту инициативу со всей пылкостью. Она металась по этажам управления с подписными листами, вылавливая в кабинетах, цехах и подсобках каждого, еще не поставившего своей закорючки — будь то сам начальник управления или нетрезвый сантехник, синюшным вурдалаком скрывающийся от дневного света в канализационном люке. Ей казалось, что вот именно эта пачка листов в ее серой папке с тесемочными завязками и решит судьбу пышноволосяной темнокожей девушки, олицетворявшей собой борьбу светлого с темным.

Не знаю, действительно ли все собранные подписи отправили потом в США, или все эти папки тихо сожгли через год на задах ЦК КПСС. Не помню даже, подписал ли я сам такой листок. Наверное, подписал. Поскольку однажды оказалось, что подписи в управлении поставили все. За одним исключением. Забывшийся в угол дальнего своего кабинета Иван Макарович каким-то образом избежал внимания Укроповой. И она ринулась исправлять недочет. Ей не советовали. Мягко намекали. Она не послушалась. Все, кто был в это время поблизости, отправились вслед за Натали, чтобы лично посмотреть, чем все это кончится.

Но кончилось не так, как надеялись добрые дамы из бухгалтерии.

Когда Натали положила перед экономистом разлинованный подписной листок, тот долго вглядывался в строчки, но, так ничего и не поняв, поднял глаза с бегающими в них циферками на Натали. Дама из бухгалтерии затаила дыхание. Но ничего особенного не случилось. Иван Макарович тихо спросил:

- Что это?
- Сбор подписей в защиту Анжелы Дэвис.
- От чего защиты?
- От американского суда.
- А она не виновата?
- Нет!
- Точно?
- Да!
- А директор управления подписал?
- Да!

Иван Макарович взял, не глядя, первую попавшуюся под руку писчую принадлежность и размашисто что-то черкнул.

Натали Укропова с несколько округленными глазами подошла к коллегам и молча показала им подписной лист. Внизу во всю ширину листа красным фломастером было написано: «Освободить! Немедленно! Семенов».

Что интересно, Анжелу Дэвис вскоре освободили. О чем Натали Укропова оповестила всех посредством управленческой стенгазеты. Пробредавший мимо Иван Макарович остановился, прочитал сообщение, задумался, видимо, о чем-то вспомнил и, удовлетворенно кивнув головой, побрел дальше.

НА АМУРЕ

Шамана звали Борис, он был стар и нетороплив. Встав на колени у самой воды, из деревянной доски, похожей на лодочку-уточку, шаман бросал в Амур табак, черемшу и соль, что-то едва слышно бормотал и кланялся. Делал он все это, не обращая внимания ни на толпу туристов, щелкавших фотоаппаратами, ни на матросов причалившего прямо к берегу теплохода, спящих по трапу, ни на местных подростков, посмеивающихся и цыкающих плевками в реку. Завершая обряд, Борис налил из заранее откупоренной «чекушки» водки в два граненых зеленоватых стаканчика. Водку из одного стаканчика он с бормотанием выплеснул в Амур, второй стаканчик опрокинул в рот.

Гомонящих туристов повели в клуб, за ними потянулись и подростки, а Борис уселся на берегу и стал смотреть на бегущую воду Амура.

Он знал, что туристам покажут национальные ульчские пляски, руководительница ансамбля будет сетовать на то, что молодые ульчи плохо знают свой язык, что проходят его факультативно, по желанию, а желают не все, больше английский хотят изучать... Многие принимают православие, и, значит, надо или крестик, или бубен выбирать. Православному же нельзя шаманский бубен в руки брать...

Амур течет и течет нескончаемо, и жизнь течет, и все становится не так, как было, и как было, уже никогда не станет.

Вскоре туристы вернулись на теплоход, и тот, коротко взыв, отчалил, вспенив воду за кормой. Борис встал и вытащил из-под перевернутой лодки мешок. Достал котелок, треногу, завернутую в мокрую мешковину и лопухи рыбу и принялся ладить костерок...

...Солнце скрылось за грядой острых верхушек елей и пихт. Отец Василий запер церковку и побрел к берегу. Быстро темнело, и костер ярким цветком выделялся на серо-свинцовом фоне Амура. Из котелка над огнем уже вовсю валил пар, а шаман на куске брезента, брошенного на траву, раскладывал ломти черного хлеба. Увидев спускающегося к воде священника, Борис, натянув на ладонь рукав куртки, снял котелок с огня, поставил на брезент, достал из кармана деревянные ложки. Отец Василий перекрестился, быстро опрокинул граненый стаканчик и зачерпнул ухи.

Ночь быстро опускалась на берег, звезды высыпались на небосклон, выплыл из-за сопки месяц и повис прямо над крестом темневшей над рекой церквушки. Отец Василий отложил ложку и растянулся на принесенном с собой ватнике. Борис, сидя потурецки, затаил потихоньку что-то по-ульчски, мерно покачиваясь, словно кланяясь воде. Отец Василий прикрыл глаза и принялся нашептывать молитву.

Из поселка доносились звуки телевизора. «Значит, на улице никого, — подумал отец Василий, — все сериал смотрят...»

МЫКОЛА

Солнце зацепилось за корявые ветви дальних сосен и висело в них, наливаясь красным жаром. Но это был обман — оно совсем не грело. Мы брели по желтой песчаной дороге, которая превратилась в дно мелкой прозрачной речушки — апрельская талая вода сбегала в нее, и сквозь резину сапог и шерстяные носки мы чувствовали ее ледяной холод. И все же идти по залитой дороге было приятнее и легче, чем по ноздреватому серому снегу, который большими пятнами лежал среди густого кустарника. Лес потихоньку замолкал. И голос Мыколы резко раздавался среди замерших темных стволов.

— Тетерев — птица жутко осторожная. Подойти к ней трудно-трудно. А особенно глухарь... Ну, услышал ты глухаря, что делаешь? Пока он токует, ты махать, махать на звук, но как слышишь «чуфшшш-чуфшшшш» — сразу замри! Как прямо встал — так и замри. Так на выстрел и подойдешь, если не дурак...

Мыкола шагает нешироко, но быстро, вдруг сворачивает с дороги, исчезает в кустах и через минуту появляется совсем не там, где ожидаешь его увидеть.

Мальчишка, увязавшийся с нами на тягу, догоняет его, семенит сбоку, спрашивает:

— Дядь Мыкола, а кого труднее стрельнуть — глухаря или тетерю?

— Обоих трудно, вальдшнепа легче, красться не надо, встать только удачно, и жди себе.

Мы выбрали наконец на сухое место. Мыкола остановился, присел на корточки.

— Вот гляди, вишь, говна — это глухаря говны. Тут вот сосна, значит, тут сухо, здесь костер и разведем.

Мальчишка плюхнулся на покрытый сосновой иголкой пригорок:

— Ты, дядь Мыкола, прямо Дерсу Узала...

— Смеешься? Смейся, смейся, вот щас по лбу дерсну, и будет тебе узала.

— Мыкола, да это человек такой таежный был, — засмеялся мальчишка, — все о природе знал... как ты...

— Индеец, что ли?

— А ты что — индеец?

— Шел бы ты за дровами... Да с полу не бери — лежащее все отсырело, ломай стоячее. Жалко, дуба тут нет — сыро. Сухой дуб — самое жаркое дерево...

Огонь разгонял тьму, плясал на задумчивых лицах, на рыжей коре сосны. Мы, сморщенные усталостью и ужином, задремывали. Только Мыкола все не мог успокоиться, вскакивал, убегал за чем-то во тьму или просто стоял, задрав голову к кронам, словно принохивался и слушал что-то нами не слышимое. Потом подбрасывал сучьево в костер и снова садился.

— Спать станете, руки из рукавов фуфаек выньте и к телу прижмите — так теплее. Под утро холодно будет, гляньте, как вызвездило...

Все задремали, а от меня сон что-то отлетел, да и Мыкола все возился, бормотал что-то сам с собой.

— Мыкола, ты зачем живешь?

Мыкола вопросу не удивился, помолчал, поворошил веткой в огне.

— А х... его знат. Ну вот, к примеру, нападут на нас американцы — они всех сейчас что-то бомбят. Или те же китайцы... Кто на войну пойдет? Меня забреют... А ты говоришь зачем. Занадом...

— А если войны не будет?

— Дак слава ж богу! Хорошо же, если не будет!..

Уже сквозь сон я слышал, как Мыкола поднимался, бормотал что-то, подбрасывая в угасающий костер ветки, и чувствовал, как тепло волнами наступает на окружающий нас ледяной апрель...

ЧЕРУСТИ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

1956 г. Я представляю себе: Казанский вокзал, непривычный — не сегодняшний, скудно освещенный качающимися фонарями и светом из окон, плывет в морозном мареве сквозь пар из канализационных люков и пар дыхания сотен людей. Ветер бьет снежными зарядами в слепые окна залов ожидания, закручивает ледяные смерчи меж стоящих на путях вагонов, выдувает из щелей и гонит по мерзлоте асфальту всякий мелкий сор, не попавший под метлу татарина-уборщика. Народ, груженный кто чемоданами, кто узлами и вещмешками, согнувшись, бредет в черно-белом месиве к поездам. Из хриплого репродуктора доносится женский голос, и все на вокзале на секунду замирают, вслушиваясь:

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Не знаю, ходили ли тогда уже по Подмосквовью электрички, но ясно представляю себе, как несколько согбенных непогодой фигур в снежной круговерти поворачивают к табличке седьмого пути...

...Дело было почти наверняка так. Ветер крутил снежные вихри над темными избами, над полузаметенной дорогой, над покосившимся крестом заколоченной церковки, подхватывал ранние дымки и, отрывая их от черных труб, уносил к дальнему, едва проступающему сквозь снежные завесы лесу. Я только что родился и не знал не только о том, что есть на свете какие-то Черусти, но и о том, что есть на свете Москва, Россия, что вот-вот мир вступит в космическую эру и над моей деревней, над Москвой и Казанским вокзалом, над неведомой станцией Черусти запищит новорожденный спутник: «бип, бип, бип»...

1966 г. Елка горит разноцветными огнями прямо посреди зала ожидания, и от этого вокзал — вечный котел, в котором бурлят, перемешиваются и варятся человеческие судьбы, — становится немного теплее и человечнее. Мы с отцом пробираемся сквозь толпу в поисках свободного местечка, на котором можно было бы переждать те несколько часов, что остались до отправления скорого Москва—Евпатория. В зале ожидания хаос из приезжающих, отъезжающих, встречающих и провожающих, а в моей голове хаос впечатлений одного дня в столице: кремлевские звезды из учебника, Красная площадь, которая вовсе не красная и не такая уж впечатляющая, как ожидалось, метро с волшебными лестницами, опускающими толпы людей в сказочные подземелья, и людские потоки, реки людей... И голос из репродуктора, объявляющий непонятное:

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

А в голове моей цветная каша из звуков, запахов, слов и надежд — то мраморные чертоги метро, то далекое, не виданное еще синее море, которое окажется на удивление зеленым; а вокруг раскинулась огромная страна, на просторах которой затерялись эти неведомые Черусти. А впереди оптимистично сияет кремлевскими звездами недалекий коммунизм. Его уже пообещал мне Хрущев, пораженный в са-

мое сердце американской кукурузой и бросивший клич: «Догнать и перегнать!..» И льется из невидимого динамика: «Утверждают космонавты и мечта-а-атели, что на Марсе будут я-а-аблони цвести...» А Марс одинаково далек и от Казанского вокзала города-героя Москвы, и от Евпатории, и от станции Черусти...

1976 г. Казанский вокзал кипит, перемешивает человеческую массу — перекресток направлений, устремлений, судеб.

Рюкзак да гитара, да «надо жить километрами, а не квадратными метрами...» И Казанский другой, и жизнь другая: веселая, зовущая, обещающая. С твердой уверенностью: у нас лучше! Ведь известно же, что простая американская молодежь (особенно негры) не может вот так запросто в отпуск набить рюкзаки спальниками, палатками и «Завтраком туриста» да и отправиться веселой компанией на край света, скажем, на Соловки!

— Эй, девушка! Пошли с нами в поход!

— Дураки, какая я вам девушка, я уже была в походе!

Скоро подойдет поезд, погрузится в него веселая ватага, распахает по углам, по багажным отсекам и полкам брюхатые рюкзаки; на столе появятся непременно набор советского пассажира: яйца вкрутую, куриная нога, огурчики-помидорчики, может быть, килька в томате и уж, наверное, бутылочка за три шестьдесят две; а тут и время для гитары.

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Черусти-челюсти-челюскинцы-чебоксары-чебурашка... Интересно, что за Черусти, чем там люди живут? Но все едут к Черному морю, в Карелию, на Рижское взморье, в тайгу, кто за туманом, а кто и за деньгами. И это понятно. Но, скажите мне, кому и на кой черт нужно ехать в какие-то там Черусти?!

1986 г. Даже Казанский словно бы ускорился; да и как же: включишь уют, а из него — «перестройка, гласность, ускорение!» И хотя Горбачев еще только начал разливаться сладким соловьем, наверное, начал что-то смекать и Ельцин, а по Москве уже бегал троллейбус, на котором будущий опальный коммунист поедет в народ. Москва жаждет перемен, воли, демократии и чего-то еще, чего и словами не высказать, но что тревожит скукоженную советскую душу и заставляет воображение рисовать черт-те что — что-то, что-то, что-то этакое! И хотя загадка «длинный, зеленый, колбасой пахнет» (ответ: поезд из Москвы в провинцию) еще весьма актуальна, но вот уже рядом, вот уже чувствуется по всему что-то новое и, конечно же, светлое и прекрасное.

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Вон они, несознательные пассажиры до Черустей, все спешат к вагонам со своими тугими сумками, из которых чаще пахнет колбасой, чем философией, и не знают, да и знать не могут, что вот-вот разберут на сувениры Берлинскую стену, что вот-вот жизнь станет замечательной и в перестроенной деревне, и в гласной Москве, и в ускоренных Черустах! Эх, а не махнуть ли, братцы, в эти самые Черусти?!

2006 г. Казанский принимает поезд из Грозного на самый крайний путь. Ограда из скамеек, оцепление — за оцеплением под строгими взглядами ОМОНа пассажиры ручейком проходят через беспристрастную рамку металлоискателя; два бойца с собакой бредут вдоль состава. Взрывчатку обнаружат в восьмом вагоне, часовой

механизм не сработал по счастливой случайности: слабо закрепленный проводок от тряски соскочил с клеммы.

Давно утонул во мраке истории ЦК КПСС, а вместо него над горизонтом навис всемогущий Газпром. С верноподданнического плаката смотрит внимательный Путин, словно выбирает себе преемника в гуще пестрой толпы. Но какой может быть преемник на Казанском!

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Путин смотрит на всех. И никто не смотрит на Путина. Разве что начальник вокзала глянет изредка: не покосилось ли, не налетела ли пыль... Правители приходят и уходят. Строй сменяет строй. Сгнил хрущевский ботинок, модные вот совсем еще недавно малиновые пиджаки, теперь полный отстой. В тайгу за туманами? Ха-ха-ха! Смешно пошутил. Очкарик сидит на корточках, ждет поезда и стучит чего-то на ноутбуке.

Ну и жизнь пошла... Жизнь выгнала из Евпатории и загнала в Анталию. Жизнь вообще вытворяет с нами, что хочет. Жизнь вывернула Россию наизнанку и переориала весь мир...

* * *

Если доживу до 2026 года, приеду на Казанский, куплю билет и, дождавшись знакомого:

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...* —

пойду к этому самому седьмому пути. А то ведь нехорошо как-то: изъездил весь мир от Кубы до Швеции, а что за Черусти такие, так и не узнал. Мир меняется со страшной скоростью, Земля вертится волчком, все быстрее и быстрее — того и глядишь, сорвет тебя центробежной силой со все уменьшающегося шарика и забросит неизвестно куда! За что держаться, братцы?..

Нет-нет, все в порядке... Я точно знаю: есть на свете вещи незыблемые и непоколебимые. Ветер, что крутит снежные вихри над темными избами, над полузамеченной дорогой, над золоченым крестом восстановленной церковки; ранние дымки над деревенькой, предутренний клич петуха и вскрик пролетающей электрички; вот это броуновское движение неостановимого народа на российских вокзалах, толчея и кипение жизни... И неведомая станция Черусти, в конце концов, — да пребудет она во веки веков!

Аминь...